

ПЕРЕПИСКА ТОЛСТОГО С Т. А. ЕРГОЛЬСКОЙ И А. А. ТОЛСТОЙ И ЭПИСТОЛЯРНАЯ КУЛЬТУРА КОНЦА XVIII—ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX в.

В обширной эпистолярной Л. Толстого есть циклы, выпадающие из общего тона его переписки. В контексте эпистолярной культуры второй половины XIX в., утратившей определенность и почти мгновенную узнаваемость структуры, так характерные для предшествующих эпох, они кажутся откровенно литературными и потому «архаичными». Исследователи давно установили зависимость писем Толстого к Т. А. Ергольской от французского романа.¹ Однако бесспорный сам по себе этот факт нуждается в объяснении. Воздействие «Новой Элоизы» Руссо ни в конце 1840-х—начале 1850-х годов, ни позже не распространилось на всю переписку Толстого. Напротив, повышенная «литературность» одних (и, что особенно важно, незначительных по объему) массивов текста не только предполагала, но и требовала абсолютной «стертости» других. Именно этот фон, не просто эстетически нейтральный, но откровенно стереотипный,² обнажал литературный характер писем Л. Толстого к Т. А. Ергольской.³ Сознательное литературное отношение к материалу в одних случаях и — почти одновременно — полнейшее безразличие (как принцип, как позиция) — в других. Подобное обстоятельство определяет самую суть проблемы: влияние французского и английского романа XVIII в. на письма Толстого объясняется не только «вкусом» их создателя, но и характером адресата. «Архаичность» этих текстов⁴ есть не что

¹ См.: Чистякова М. Лев Толстой и Франция. — Лит. наследство, т. 31—32. М., 1937, с. 982; Розанова С. Эпистолярное наследие Л. Н. Толстого. — В кн.: Толстой Л. Н. Собр. соч., т. 17. М., 1965, с. 8.

² См. письмо С. Н. Толстого Л. Н. Толстому от 14 июля 1852 г.: «... все эти письма (речь идет о письмах Л. Н. Толстого братьям С. Н. и Д. Н. Толстым, Дьякову и Перфильевым, — Р. Л.) пришли с одной почтой, все были одного формата, одним манером свернуты, слог в них был почти во всех один и тот же, обороты фраз одинакие <...> не письмо, а какой-то циркуляр» (59, 187).

³ «Дусеры», «шитые белыми нитками» из «тирад M-me de Genlis и ей подобных» (59, 187); или: «Ты просишь меня прислать тебе 1-й том Новой Элоизы; зачем она тебе? Из писем твоих к тетеньке видно, что ты ее помнишь наизусть» (59, 187).

⁴ Сошлемся на восприятие современника Толстого, одного из первых (и «посторонних») читателей его писем к Т. А. Ергольской — С. Н. Толстого: «... не знаю,

иное, как результат «приспособления» к корреспонденту, «слияния» с его образом, следствие сознательной ориентации на его модель письма. «Архаичность» и литературность манеры подсказаны Толстому его адресатами — Т. А. Ергольской (1792—1874) и А. А. Толстой (1817—1904), женщинами, чье сознание и мироощущение во многом обусловлены той культурной эпохой (конца XVIII—первой трети XIX в.), когда частная переписка воспринималась как факт литературы.⁵ Память об этой традиции — вот тот вполне конкретный смысл, которым определяется, на наш взгляд, содержание понятия «архаичность». Далекое от культуры прошлого века и в то же время тянущееся к ней художественное сознание неизбежно оказывалось перед необходимостью реконструкции уже почти забытых в быту форм письма. Толстой не мог не избежать воздействия «Юлии, или Новой Элоизы, писем двух любовников <...>». Собранных и изданных Ж.-Ж. Руссо. Эпистолярный роман XVIII в. стал для него не только средством постижения сентиментального мироощущения, но и знаком, жизненным эквивалентом структуры жанра. Толстой шел к письму через литературу, через роман. «Романами» называли свою переписку, восходящую к литературе и питающуюся ею, люди XVIII в., чьи письма, не переставая быть средством связи, документом частной жизни, превращались в форму самопознания, самовыражения личности, форму освоения действительности. С этой «словесностью», «домашней», «потаенной», рукописной, возникшей на грани литературы и быта, генетически связана переписка Л. Толстого с Т. А. Ергольской и А. А. Толстой.

«Переписка друзей <...> — роман, в котором мы сами были действующими лицами».⁶ Надпись, сделанная М. Н. Муравьевым на обороте письма В. В. Ханыкова от 28 февраля 1779 г., приобретает значение важнейшего свидетельства, отразившего авторский взгляд и авторскую концепцию: переписка мыслится поэтом в каких-то иных, более высоких, чем обычное бытовое письмо, измерениях — рядом с литературой, наравне с ней. Роль простого «рассказчика новостей», фактографа, бытописателя явно не удовлетворяет Муравьева. Знаменательно стремление поэта подняться над хаосом эмпирии, преодолеть сопротивление громадного материала, соотнести его со своей личностью, сообщить ему свою

разве расстояние производит такое действие, что можно шестидесятилетней женщине писать письма вроде тех, которые писывали в осьмнадцатом веке друг другу страстные любовники, ибо теперь этак и любимой особе не напишешь» (59, 187. Курсив мой, — Р. Л.).

⁵ См.: Тынянов Ю. Н. 1) О литературном факте. — ЛЕФ, 1924, № 2; 2) Вопрос о литературной эволюции. — На литературном посту, 1927, № 10; Эйхенбаум Б. Литература и литературный быт. — Там же, № 9; Степанов Н. Дружеское письмо начала XIX в. — В кн.: Русская проза. Л., 1926; Гинзбург Л. О психологической прозе. Л., 1971, и др.

⁶ Цит. по: Кулакова Л. И. Поэзия М. Н. Муравьева. — В кн.: Муравьев М. Н. Стихотворения. Л., 1967, с. 29 (Б-ка поэта. Большая серия. Изд. 2-е).

«авторскую точку зрения», свое «отношение», создать свой «портрет», «картину жизни» своей,⁷ «роман» о себе.⁸

Муравьев шел к «роману» от бытового письма. В 1776—1777 гг. под влиянием сложного комплекса причин (разлад с действительностью и недовольство собой, «Утренний свет» с его «наукой познания самого себя», теорией нравственного самоусовершенствования, и литература европейского сентиментализма) в мозаически пестрой структуре письма рождается, — иногда выбиваясь в начало, решающее и определяющее, — качество психологического «романа». Меняется самая установка жанра. Письмо для Муравьева не столько сообщение (хотя момент информации постоянно присутствует в его переписке), сколько средство сентиментального общения, сердечное излияние, не столько салонный *causerie* <разговор> о политике, литературе, искусстве, театре, новостях придворной жизни, сколько интимный разговор двух «сродненных душ», наслаждающихся «рассматриванием друг друга»,⁹ «история сердца», «отчет» в чувствах, делах и помышлениях.¹⁰ Культ сентиментальной дружбы определяет тематику, и стилистику «романа», организует повествование и, преобразовывая материал, выстраивает из отдельных и разновременных текстов сюжет.

Близким, друзьям души, «нежнейшему отцу» и милой сестре, принадлежало все: чувства, помыслы, дела, жизнь поэта. «Любить Вас и быть добродетельну <...> я хотел бы отдать жизнь свою за благополучие Ваше и сестрицыно <...> я сын навсегда...»,¹¹ — в этом сладостном самоотречении черпалось наслаждение.

Пылкое воображение возводило неисчислимые добродетели отца, «начальника божества» своего, чувствительность сестры в совершенство, побуждало «отчитываться» перед их «чистыми душами» («Время уж, чтобы Вы изволили рассудить собственными глазами, таков ли я еще, как был, чтоб Вы поправили начертание моей будущей жизни. Тогда я буду просить, чтоб Вы не совсем

⁷ Та же терминология у героев «Новой Элоизы». См.: Руссо Ж.-Ж. Избр. соч. в 3-х т., т. 2. М., 1961, с. 306.

⁸ См. неоднократные высказывания Муравьева по этому поводу: «Может быть, недолго продолжится наша переписка, и роман окончится приездом Героя в Тверь...» (30 ноября 1777 г.). — Отдел письменных источников Государственного Исторического музея (далее: ОПИГИМ). Собрание Черткова. Письма М. Н. Муравьева к отцу, Н. А. Муравьеву, с приписками сестре, Ф. Н. Муравьевой.

⁹ О симпатии, из сочинений г. Виланда. — Утренний свет, 1778, ч. II, с. 12. Муравьев дословно повторяет эту фразу в письме 1778 г. к сестре, Ф. Н. Муравьевой.

¹⁰ Ср. программу письма в «Новой Элоизе»: «Переписку надобно посвящать тому, что ближе нас с Вами. Я поведаю лишь о своем душевном состоянии» (Руссо Ж.-Ж. Избр. соч., т. 2, с. 52).

¹¹ Письмо к отцу от 22 июня 1781 г. — ИРЛИ, Р. II, оп. 1, № 261. Письма М. Н. Муравьева 1779—1781 гг. к отцу, Н. А. Муравьеву, с приписками к сестре, Ф. Н. Муравьевой. В дальнейшем ссылки на этот фонд не оговариваются.

отказались в вашем творении¹² и еще признали что-нибудь Ваше» — отцу, 4 декабря 1778 г.), стремиться к ним как к идеалу («Не можно быть более уверену, как я, что ты заслуживаешь всю мою привязанность, все почтение своими достоинствами. . . но кто меня уверит, что я не совсем недостоин быть тобою любимым»).¹³

Рефлектирующее сознание постоянно соотносило с этим прекрасным образцом свои дела и чувства и безжалостно отмечало малейший разрыв: «Сколько прошу я бога, чтобы он вложил в душу мою благородную ревность к трудам, чтоб я возвратился Вас увидеть, не имея попреков себе втуне проведенной праздности. . . Сколько раз я имел счастье блаженствовать быть моим родителем. Что сделаю я быть сего достойным?» (ОПИГИМ, отцу, 20 октября 1778 г.).

Муравьев каялся в своей вине, часто несуществующей, преувеличивал недостатки. Ужасаясь собственной праздности, равнодушию к занятиям искусством, лени, скорбя по потере чувствительности, он звал на помощь отца, божественно-чистую сестру. Он жаждал возрождения: «Душа твоя имеет нечто важнее и основательнее, нежели моя < . . . > Я поцелую черты руки твоей, и, может быть, добродетельная слеза упадет на них. Мое сердце приблизится к добродетели» (ОПИГИМ, отцу, 21 августа 1777 г., приписка к сестре). Дневник и переписка становились школой самопознания, самовоспитания, «школой чувствования».¹⁴

Вечное Grübelelei <размышление>, «раскапывание» своего сердца, постоянное недовольство собой, упреки, самобичевание, раскаяние — основной, но не единственный «мотив» переписки поэта.

Перемены настроения, капризы воображения, игра воспоминаний, «своенравие чувства» . . .¹⁵ Одиночество, недовольство собой, действительностью, смутное и непонятное, лелеяли воспоминания о Твери, отце, любимой сестре, детстве. Погружаясь в мечтательное забвение, Муравьев «питался воображениями»: «Я нахожу в голове своей приятные воображения, что ты меня желаешь в Тверь, сидя уединенно. Я тебя прошу: соблюди ко мне эту склонность» (ОПИГИМ, сестре, 29 января 1778 г.). «Воображение богатое и свежее даст тебе наслаждение, нежели толико чувствуемая действительность» (письмо к отцу от 19 января 1781 г., приписка сестре). В этом стремлении противопоставить «мечтательный мир» реальному, в бегстве от реальности в интроспекцию — симптомы

¹² Ср.: «Так поспеши, заклинаю, завершить свое творение», — пишет Сен-Прё Юли (Руссо Ж.-Ж. Избр. соч., т. 2, с. 115).

¹³ Письмо к сестре, Ф. Н. Муравьевой от 19 января 1781 г. — ИРЛИ, Р. II, оп. 1, № 262. В дальнейшем ссылки на этот фонд не оговариваются.

¹⁴ Кулаков А. И. Очерки истории русской эстетической мысли XVIII века. Л., 1968, с. 202.

¹⁵ «Я сообщу тебе своенравие своей чувствительности: твое отсутствие из Твери меня здесь печаливало, как будто бы оно прибавляло что-нибудь к нашей разлуке» (ОПИГИМ, сестре, без даты, 1778 г.).

нового эстетического сознания. Частная жизнь, «прекрасная душа», добродетель осознаются как величайшая ценность, которой индивидум пытается противопоставить себя неправедному миру («... ежели есть счастье на земле, так оно в сердце честного человека» — письмо к сестре от 21 января 1781 г.),¹⁶ как единственное укрытие, куда можно бежать и спрятаться. Созданный Муравьевым сентиментальный «роман в письмах» был своеобразной формой выражения глухого недовольства действительностью и смутного протеста против нее.

Муравьев еще интуитивно сопротивляется «книжному» способу чувствования и выражения, отбиваясь от «навязчивых» литературных формул иронией. В. Капнист — сознательно ориентируется на них. В его письмах А. А. Дьяковой конца 1770-х годов чувство невольно стилизуется, подчиняясь готовым литературным образцам: «... ничто на свете, нет, ничто не может вырвать из моей души любви к вам, в ней живущей. Нет, милая подруга несчастного человека, верь мне».¹⁷ Это «присвоение» «чужих» страстей и языка романа — одно из конкретных проявлений того «нисхождения в широкие слои общества <...> литературных переживаний, влияния поэзии на жизнь»,¹⁸ которое может быть определено как романтическое жизнетворчество.¹⁹ Неустанно и непрерывно Капнист строит себя как личность, творит себя, создавая в письмах к жене (с этой точки зрения особенно интересны письма 1786—1793 гг.) свой «литературный» облик.

Жизненным *specto* поэта провозглашаются уединение, покой, счастье. Обуховка — это «обиталище рая» («содружество Сашеньки», «воспитание детей», «созерцание прекраснейшей девственной природы, лелеющей обитель мою», «погружение себя иногда в недро души», «воспарение» к богу) — мыслится некой антитезой свету, «кишащей» равнодушной толпе, где страдает²⁰ и откуда рвется одинокий меланхолик.²¹ Обуховская «идиллия» предусматривала и ее, «милого друга», «ангела» Сашеньку,

¹⁶ Не есть ли это парафраза из «Новой Элоизы» Руссо: «... если есть хоть один пример счастья на земле, то он воплощен в человеке добродетельном» (Руссо Ж.-Ж. Избр. соч., т. 2, с. 183), тем более что сам Муравьев говорит: «Это последнее, кажется, не мое».

¹⁷ Капнист В. В. Собр. соч., т. 2. М.—Л., 1960, с. 255—256. В дальнейшем ссылки на это издание — в тексте, с указанием тома и страницы.

¹⁸ Жирмунский В. Религиозное отречение в истории романтизма. М., 1919, с. 1 (Примечания и дополнения).

¹⁹ О моделировании личности и романтическом жизнетворчестве см.: Жирмунский В. Религиозное отречение в истории романтизма; Лотман Ю. М. 1) Художественная структура «Евгения Онегина». — Труды по русской и славянской филологии, т. IX. Тарту, 1966; 2) Театр и театральность в строе культуры начала XIX в. Сцена и живопись как кодирующие устройства культурного поведения человека начала XIX столетия. — В кн.: Лотман Ю. М. Статьи по типологии культуры. Тарту, 1973; 3) Поэтика бытового поведения в русской культуре XVIII в. — В кн.: Труды по знаковым системам, VIII. Тарту, 1977; Гинзбург Л. О психологической прозе.

²⁰ «Без тебя я прозябаю, стараюсь забыться, бегу самого себя» (2, 377).

²¹ «Ужасная пустота образовалась в сердце» (2, 341).

«окруженную <...> друзьями», «вкушающую прелесть забав <...> и тем обманывающую печали жестокой <...> разлуки» (2, 392),²² в любви к которой источник нравственного возрождения («Ты чище меня...» (2, 384)) и цель жизни.²³ Концепция этого сентиментального бытия, органически включающая в себя напряженную эмоциональную внутреннюю жизнь, очарование воображения, которому «почти удается обмануть докучную действительность» (2, 392), вынашивалась и создавалась в Петербурге. Она была светлым вымыслом, плодом мечты и резко расходилась с реальным бытием поэта.

Толстой не знал этих писаний XVIII в., и тем не менее именно подобием, своеобразным повторением их кажутся его собственные письма к Т. А. Ергольской, возникшие почти сто лет спустя. Такого рода «совпадение», исключающее самую возможность непосредственного воздействия одних текстов на другие, объяснимо только глубинными процессами, связанными с нравственными и эстетическими исканиями художника.

Конец 1840-х—начало 1850-х годов — период напряженной работы Толстого над самим собой, созидания себя как личности. Этот сложный творческий процесс самовоспитания и самосовершенствования закрепляется прежде всего в дневнике писателя, лишь изредка выплескиваясь за его пределы. Подобные выходы за границы интимного жанра свидетельствуют о стремлении Толстого сделать свою внутреннюю жизнь видимой для других, обнаружить ее и неизбежно означают потребность в «доверенном лице», «свидетеле» «исправления» его натуры. Толстой ищет этого «другого» и находит его далеко не сразу. Сначала две (в 1847 и 1849 гг.) одинаково безуспешные попытки обрести поверенного в братьях Николае и Сергее. Эти письма — открыто исповедальные и потому совершенно инородные в контексте почти всегда сдержанно-деловой или небрежно-иронической переписки со старшими братьями, практически не имели и не могли иметь продолжения. Искреннее желание быть понятым, одобренным и ободренным в решающий момент («... с завтрашнего дня начну вести образ жизни, согласный с моими правилами»;²⁴ или: «... теперь я вижу, что я переменился <...> Это большой шаг и большая перемена, еще этого со мною ни разу не было» — 59, 29) и одновременно предчувствие непонимания, ожидание чужой, скептически недоверчивой реакции²⁵ и стремление защититься от нее роднят

²² Ср. другой запрограммированный Капнистом образ жены: «... бродя по саду, думаешь обо мне, часто плачешь (из-за меня)» (2, 377).

²³ «... ты заменишь мне весь мир» (2, 342—343).

²⁴ Л. Н. Толстой—Н. Н. Толстому (середина мая 1847 г.) — Лит. наследство, т. 37—38. М., 1939, с. 140 (оригинал по-французски).

²⁵ Об этом свидетельствует точка зрения адресата, «чужое слово», прямо вторгающееся в структуру письма: «ты рассмеешься слову — завтра». — Там же; или: «я знаю, что ты никак не поверишь, чтобы я переменился, скажешь — “это уже в 20-й раз, и всё пути из тебя нет, самый пустяшной малой”» (59, 29). Ср. ответное

разновременные тексты. В те же годы совершается сложный процесс становления новых отношений между Л. Толстым и Т. А. Ергольской, трансформирующий их переписку, совершается постепенно, но постоянно, то замирая в глубинах, то вырываясь на поверхность. Переломным станет в сознании Толстого 1851 год. Отъезд на Кавказ, «тяжелая разлука» (59, 149) с «тетенькой», потом с братом Николаем и неутомимое «познание самого себя» переведут письма, всегда полные любви и почтительности, в совершенно иной план. «Литературные занятия» (Толстой работает над «Детством» — «писать романы» «когда-то» советовала ему Ергольская — 59, 119) обостряют привычное чувство самоанализа. Захваченный творчеством, Толстой заново переживает свою собственную жизнь, живет «мечтой», «воспоминаниями» (59, 177). Собственное бытие — прошлое и настоящее — приобретает эстетическую значимость, становится материалом для сюжетных построений и содержанием «романа». Источник сложнейших модификаций, которые претерпевают в структуре переписки реальные жизненные факты, — романтическое миросозерцание,²⁶ воспринимаемое и осваиваемое Толстым (как и Муравьевым) через литературу, и прежде всего через «Новую Элоизу» Руссо. Именно эти опосредованные связи (напомним толстовское определение сути подобного явления — несамостоятельность «в формах выражения» — 34, 348) объясняют парадоксальное на первый взгляд обстоятельство: в переписке Толстого с Ергольской «просвечивают» сюжетный остов, «схема» уже знакомого нам «романа в письмах», созданного в XVIII в. М. Н. Муравьевым. Глубокая соотнесенность двух текстов, сложившихся абсолютно независимо друг от друга, отчетливо проявляется в результате сопоставления писем Толстого к Ергольской с его дневниками тех лет.

Внутренняя жизнь писателя так, как она отразилась в его «моральном дневнике», — это «испытание» и «исправление» самого себя, конечная цель которых — достижение некой идеальной модели личности. Творец и судья собственного поведения, он осмысливает подобное направление своей духовной деятельности как труд для себя. В письмах Толстого к Ергольской те же процессы приобретают совершенно иной смысл и иную форму, происходят не только с оглядкой на других, но и во имя других.

В отличие от Муравьева Толстой ни разу не назовет свою переписку с Т. А. Ергольской «романом» и вообще воздержится от

письмо С. Н. Толстого (59, 35), подтвердившее опасения Л. Толстого. К мнению С. Н. Толстого о младшем брате Л. Толстой возвращается вновь в покаянном письме от 1 мая 1849 г. (59, 44—45).

²⁶ Ср. письмо Н. Н. Толстому (середина мая 1847 г.): «... при каждой встрече с тетей Гуанетой я нахожу в ней все больше и больше высоких качеств. Единственный недостаток, который можно в ней признать, это чрезмерная романтичность. Происходит это от ее горячего сердца и от ума, которые нужно было бы куда-нибудь направить, и, за неимением этого, она всюду отыскивает романтизм». — Лит. наследство, т. 37—38, с. 140.

каких бы то ни было жанровых определений.²⁷ Однако «присутствие» романа, «ощущение» его структуры проявится во всем: в характере сюжета и тематики, расстановке действующих лиц, типах героев, стилистике. Центром писем станет она — «дорогая тетенька», «мать», «друг» — и любовь к ней («Ваша любовь для меня все» — 59, 149). В переписке Муравьева эта тема существует как будто бы изначально, определяя отношения, сложившиеся уже давно и сложившиеся за пределами текста. Ту же истину («какой вы мне друг и как я вас люблю») Толстой познает только «в силу <...> тяжелой разлуки» (59, 149). В полном соответствии с законами сентиментального романа она (героиня) выше героя, нравственно чище его: «Величайшее ее счастье жертвовать собой для других» (59, 261). Ее «нежная привязанность»²⁸ и твердая уверенность в <ее> любви — поддержка во всех тяжелых минутах» (59, 113) жизни героя. «Думать» о ней, с нею «беседовать» — «одно из величайших» его «удовольствий» (59, 255). Смысл собственной жизни и разлуки открывается Толстому в приближении к добродетели «дорогой тетеньки», в том, чтобы «стать достойным» ее²⁹ и «счастливой жизни» (59, 209) возле нее. Самые прозаические мелочи обретают в структуре «романа» особую значимость. Освященные ЕЕ именем, они призваны утвердить ценность всего, что совершается в отсутствие «друга» и передают так характерную для культурной эпохи второй половины XVIII в. атмосферу скрупулезного описания повседневного человеческого бытия, переживаемого уже вторично и разыгрываемого в присутствии зрителя.³⁰

Как и в сентиментальном романе, время носит здесь подчеркнуто субъективный характер. Прошлое предстанет в «воспоминаниях об Ясной», о «чудесном времени» и «в особенности об одной тетеньке, которую день ото дня я люблю все сильнее» (59, 177). Будущее явится в формах идиллии, так напоминающей утопические построения в письмах В. В. Капниста: «покой», «нравственный» и «физический», «уединение» («знакомых у нас не будет;

²⁷ Однако это не снимает вопроса о сознательном литературном отношении к материалу. Подобно Муравьеву, Толстой постоянно анализирует свои письма (59, 178 и др.). Судя по его собственному признанию, в переписке с Т. А. Ергольской он «часто» прибегал к черновику: «... Вы пишете письма прямо набело; беру с Вас пример, но мне это не дается так, как Вам, и часто мне приходится, перечтя письмо, его разрывать. Но не из ложного стыда <...> я не могу добиться, чтобы управлять своим пером и своими мыслями» (59, 115).

²⁸ Цитата из письма Т. А. Ергольской к Л. Н. Толстому от 27 января 1851 г. (59, 87).

²⁹ См. письмо к Т. А. Ергольской от 6 января 1852 г.: «... большего несчастья я себе не представляю, как смерть Ваша и Николенкина <...> что со мной будет? Для чьего удовольствия стараться мне исправиться, иметь хорошие качества <...> Хороший мой поступок меня радует потому, что я знаю, что Вы были бы мной довольны. Когда я поступаю дурно, я главным образом боюсь Вашего огорчения (курсив мой, — Р. Л.)» (59, 149).

³⁰ Подобная тенденция несомненно развивается в письмах Толстого под влиянием Т. А. Ергольской. См. интересное суждение Н. Н. Толстого: «... продолжаю по рецепту Тат<ьяны> Алекс<андровны>, т. е. начинаю описывать все, что я без тебя делал» (59, 122).

никто не будет докучать нам своим приездом и привозить сплетни»), «тихие радости любви и дружбы», «жена кроткая, добрая», «дети» и она, тетенька, «прекрасная любящая душа» (59, 163). Будущее — это сознательно реставрируемое прошлое: «... всё в доме по-прежнему, в том порядке, который был при жизни папá, и мы продолжаем ту же жизнь, только переменяя роли» (59, 163). Единственная перемена в нем — «новые лица», являющиеся «время от времени на сцену», — «это братья», которым Толстой, пересматривая кажущееся теперь идеальным прошлое и перебирая состав прежних «действующих лиц» (бабушка, мамá, папá, дети, тетеньки, Прасковья Исаевна), не находит соответствия.

Настоящее заполнено придиричивым анализом чувств, почти всегда и сознательно ориентированных на литературный образец,³¹ это самый архаический пласт переписки, стилистика которого определяется культом «чувствительного сердца» (59, 179). Настоящее зыбко: нравственное падение «героя» и «возрождение» любовью, недовольство собой, раскаяние, жалобы на одиночество и бесплодность существования, воспринимаемые как возмездие провидения за «проступки юности» (59, 255, 162), — и «спокойная совесть» (59, 178). Смысл настоящего — в «испытаниях» и «искуплении» вины (59, 162), в ожидании счастья.³² «Эпоху»³³ в настоящем «составляют» письма (59, 209), с ним связан целый комплекс сентиментальных мотивов: наслаждение печалью³⁴ и сладостная мечтательность, сомнения и уверения в любви, мысль о невыразимости чувства словом (59, 255). Эта часть «романа в письмах» откровенно цитатна и всего более подвержена воздействию поэтической фразеологии, источник которой — романтическая элегия конца XVIII—первой трети XIX в.³⁵

Бытующее в современной науке представление о стилистической однородности писем Толстого к Ергольской конца 1840-х—

³¹ «Вы говорите о своем одиночестве; хотя я и в разлуке с Вами, но если Вы верите моей любви, это могло бы быть утешением в Вашей печали; при сознании Вашей любви я нигде не мог бы чувствовать себя одиноким. — Однако я должен признаться, в том, что я написал, мной руководит не хорошее чувство, я ревную Вас к Вашему горю» (59, 149).

³² «... я приучаю себя к мысли о счастье скорого свидания» (59, 237). Ср. другие незапрограммированные жанром сентиментального романа «страницы» переписки, где время измеряется военными экспедициями, карточным проигрышем и ожиданием денег.

³³ Примечательно, что фазы своего бытия Толстой осмысляет сквозь призму собственного литературного опыта. Ср.: «Четыре эпохи развития» (курсив здесь и ниже мой, — Р. Л.).

³⁴ См. письмо от 30 мая 1852 г.: «... но мне приятна эта печаль, и я черпаю в ней сладостные мгновения» (59, 177). Источником подобных настроений мог оказаться этюд Х. Геллерта «О приятности грусти», переведенный на русский язык в 1781 г. А. М. Кутузовым.

³⁵ См., например, традиционные для элегии Муравьева, Батюшкова и Жуковского образы «сладостного мгновенья», «тихой радости», «мирных слез», «сладостных слез» и др.

начала 1850-х годов требует серьезного уточнения. Литературность, т. е. качество, которым, с точки зрения исследователей, определяется специфика данных писем, вовсе не присуща им изначально, а добывается в них и, следовательно, зависит не только от адресата. Не будучи свойством всей совокупности текстов, составляющих цикл, она охватывает отдельные его участки. Становление этого стиля и его перебои, характер и даже объем письма оказываются в конечном счете регулируемыми и так же, как и в письмах Муравьева, обусловленными моментом. «Выпадения из нормы»³⁶ могут быть вызваны и насмешками брата Сергея, откровенно иронизирующего над его «возвышенным чувством» к «тетке» (59, 187), и значительным перерывом в переписке, и отсутствием подъема, того самого настроения, о котором Толстой говорит: «... нечаянно дав себе волю, выразил Вам свои чувства» (59, 179). Напротив, «разочарование» в дружбе, охлаждение близких (сестры, зятя; Толстой тяжело и «грустно» (59, 241—242) пережил это состояние во время пятигорского свидания с ними) взвинчивают самоанализ, обостряют «экзальтированные чувства»³⁷ (59, 164).

Сходство двух «романов в письмах» (муравьевского и толстовского) есть сходство структурное, типологическое, в котором «различие» — как это ни парадоксально — становится главным условием «совпадения». Архаичный для своего времени «роман» Л. Толстого мог возникнуть только в «соавторстве» с его корреспондентом. Всегда присущие письму «чувство адресата», ориентация на него оказываются здесь существенно трансформированными и приобретают новую функцию: «... вам я пишу не так, как другим, и мне не хотелось бы, чтобы все их (письма, — Р. Л.) читали» (59, 209). Речь идет не об обычной для данного жанра «домашней семантике» (Ю. Н. Тынянов), превращающей письмо в текст для «немногих» и одновременно не ограничивающей этих «немногих» — двумя. Эпистолярная традиция конца XVIII — первой трети XIX в. сознательно ориентировалась на «постороннего»: письма распространялись в «рукописях» и читались — не случайно внешняя «жизнь» письма той культурной эпохи постоянно ассоциируется с «жизнью» литературы.

Переписка Л. Толстого с Т. А. Ергольской — текст для «двонх», ибо «немногие» не только не обучены его «языку», но и не хотят овладеть им, как «языком» мертвым и потому не нужным в обиходе.

«Роман в письмах» Толстого мог состояться только в «сотрудничестве» с Т. А. Ергольской и состояться при исключительных обстоятельствах: начавший диалог с Ергольской на своем языке, Толстой в процессе «общения» с ней перешел на ее, чужой для его времени, но не чужой для его сознания язык, и перешел почти целиком. Соотношение отдельных частей этого своеобразного

³⁶ Толстой чаще всего определяет их как «плохое и коротенькое письмо» (59, 166), «короткое и бестолковое» (59, 279) и осознает их как «вину» (59, 166).

³⁷ См. письмо к Т. А. Ергольской (1853 г. Августа вторая половина. — 59, 245).

«романа в письмах», закрепленных за разными «авторами», носит при этом качественно иной характер, чем в переписке современников как особом жанре. В сознании Толстого тексты его корреспондента приравнены к литературным и в такой же мере «осваиваются» писателем, как французский роман XVIII в. и другие сугубо книжные источники. Усвоение и освоение чужого языка в конце 1840—1850-х годов для Толстого, с его постоянным тяготением к культуре XVIII в., было абсолютно органичным. Роль Т. А. Ергольской в этой переписке гораздо значительнее, чем обычная роль адресата. Она подсказала, а ее письма определили еще одно направление литературной деятельности Толстого — «роман в письмах» в духе XVIII в. Когда отпадет потребность, а вместе с ней и необходимость говорить на языке эпистолярной культуры прошлого века, Толстой вернется к своему прежнему «языку», а его письма к Ергольской, приобретая все более и более деловой характер, опустятся в быт. Однако ситуация, уже как будто исчерпавшая себя, возникнет в практике писателя еще раз.

В переписке Л. Толстого с А. А. Толстой разрабатывается все тот же комплекс мотивов (родство душ и зарождение симпатии, «нравственное падение» героя и возрождение любовью женщины, культ дружбы, воспоминаний, уединения), но разрабатывается совершенно по-иному. Определяя собственную роль в создании эпистолярного «романа», А. А. Толстая склонна была считать себя «лишь второстепенным лицом», «donnant la réplique <подающим реплики>». ³⁸ Сделанное постфактум, в 1899 г., это признание не отражает действительного положения вещей. Невольно или намеренно она стала не только главной героиней «романа», но и подлинным его творцом.

Экспозиция толстовского «романа» предельно лаконична — четыре письма, навеянные воспоминаниями о швейцарских встречах с А. А. Толстой, но к этой стремительной завязке сам писатель почти не причастен. Те творческие импульсы, которые перестраивают принадлежащее Толстому «начало» и организуют разрозненные письма в некое единство, текст — «роман в письмах», исходят от корреспондентки, определяются ее мироощущением. Она первая скажет о «симпатии» ³⁹ и «созвучии душ» (с. 109) и даст имя складывающимся отношениям: «друг». ⁴⁰ Она направит завязавшийся «разговор» в нужное русло — «изучать друг друга le bis-

³⁸ См.: Воспоминания графини А. А. Толстой. — В кн.: Л. Толстой. Переписка с А. А. Толстой. 1857—1903. СПб., 1911, с. 15. В дальнейшем ссылки на страницы этого издания — в тексте.

³⁹ «Я не отправила Вам письма за недостатком времени, а сейчас получила Ваше <...> Поговорка "Сердце сердцу весть подает" применима в данном случае к нам» (с. 85). Ср. ответное письмо Толстого: «Лень, постыдная лень сделала то, что на последнее Ваше письмо Вы не получили ответа в то время, когда Вы его писали. Опять бы была симпатия» (60, 228).

⁴⁰ Ср. письмо И. С. Тургенева к Л. Н. Толстому от 13(25) сентября 1856 г.: «... друзьями в руссовском смысле мы едва ли когда-нибудь будем» (Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. III. М.—Л., 1961, с. 14).

touri à la main <с хирургическим ножиком в руках>» (с. 14—15) — и предложит свою программу переписки: «Итак, я с радостью слежу за Вашими успехами, видя, как Вы постепенно поднимаетесь все выше и выше в деле усовершенствования, каким я его понимаю. Вы примете на деле те теории, об исполнении которых я только мечтала...» (с. 86). Она определит амплуа; его и свое («чудесная поверенная в моей profession de foi <исповеди>» — с. 89), и запрограммирует ответный ход: «Скажите, научите, любезный внук, обдумайте и составьте для вашей бабушки хорошенький и изворотливый план, *убежище*, где бы она могла спастись от совершенного уныния. Вы должны теперь видеть в ней не вселенскую жену, проповедующую в торжественной одежде неоспоримые истины (курсив здесь и ниже мой, — Р. Л.), а существо съезженное, разбитое и требующее помощи» (с. 89). Она попытается воскресить не только формы дружеского общения, столь характерные для русского культурного сознания конца XVIII—начала XIX в. («дружба как средство самопознания и взаимного воспитания»),⁴¹ но и самую структуру жанра, стилистику письма. Толстой примет условия этой «игры». Направление, в котором ему предлагалось мыслить, улавливалось легко. Это была моралистическая литература XVIII в.,⁴² определившая характер совсем недавних упражнений Толстого в познании и самовоспитании.

Предлагаемая А. А. Толстой программа казалась возобновлением уже почти прерванных эпистолярных «бесед» (59, 11) с Т. А. Ергольской, продолжением их, и должна была отчасти удовлетворить постоянно присущую Толстому потребность самоанализа. Непредказуемой оказалась лишь роль, которую писатель отведет себе: в отличие от Муравьева Толстой не только участвует в создании «романа в письмах», но и разрушает его. В толстовском «романе» нет и не может быть так характерного для сентиментального эпистолярного романа XVIII в. «единства слога».

Называя свою переписку с Л. Толстым «хромой» (с. 32), А. А. Толстая безусловно имела в виду нерегулярность обмена корреспонденциями. Подобные перерывы (иногда в год и более) были вызваны обозначившимися с конца 1870-х годов «разногласиями» (с. 32). Однако это определение очень точно передает внутренний «строй» всей переписки, ее неровный, «спотыкающийся» ритм. В новом «романе» Толстого нет столь характерного для его первого опыта в романном жанре развития отношений между «героями», а следовательно, и развития сюжета. Ответное письмо Толстого нередко не только не способствует продолжению «романа», но и сознательно, демонстративно «закрывает» его (не случайно переписка с Толстым вызывала у его корреспондентки

⁴¹ Гинзбург Л. О психологической прозе, с. 40.

⁴² Укажем лишь на идущую от «Познания самого себя» Иоанна Масона и «Христианских календарей» Н. И. Новикова традицию анализа прожитого дня: «... когда подвожу итог дня, я спрашиваю себя со страхом...» (с. 89).

ассоциацию с «игрой» в «мячик», брошенный в «копну сена» — с. 152). Внезапные «обрывы» романного повествования,⁴³ особенно заметные на фоне внешней непрерывности переписки, образуют швы разной окраски и толщины. Подобные «сломы» вовсе не исключают возможности продолжения, точнее, возобновления «романа», нередко столь же неожиданного.⁴⁴ Мотивировка такого хода, как правило, возникает за пределами текста.⁴⁵ С годами эти сюжетные «рубцы» станут все более неровными, нервными, категоричными.⁴⁶ Одновременно с нарастанием разорванности структуры отчетливо развивается другая тенденция — «спасти» роман, т. е. заполнить возникающие таким образом «паузы» внетекстовым, но — что особенно важно — литературным материалом.⁴⁷ Разорванность структуры толстовского «романа» (от патетического Grübelel⁴⁸ до безжалостной автоиронии и прямого отказа от предлагаемой, точнее, навязываемой роли, демонстративного выхода за пределы литературного сюжета)⁴⁹ стала своеобразным эквивалентом «неукладистой дружбищи» (60, 221), надолго связавшей «героев», их драматических сближений и разрывов. Зная (и зная основательно, в деталях) предлагаемую А. А. Толстой систему поведения⁵⁰ и речи,⁵¹ Л. Толстой, однако, не мог никогда

⁴³ Они обнаруживаются уже едва ли не в самом начале переписки. См. письмо Л. Н. Толстого от 18—20 (?) октября 1857 г., снимающее только что возникшую романную ситуацию (письмо А. А. Толстой от 7 октября 1857 г.): «Мне смешно вспомнить, как я думывал и как Вы, кажется, думаете, что можно себе устроить счастливый и честный мирок <...> Смешно! Нельзя, бабушка» (60, 231).

⁴⁴ См. письмо Л. Н. Толстого от марта 1858 г.: «Моя амбиция состоит в том, чтобы всю жизнь быть исправляемым и обращаемым Вами, но никогда не исправленным и обращенным» (60, 257).

⁴⁵ Нелогичность этого поворота кажущаяся: с 11 по 17 марта 1858 г. Толстой был в Петербурге, и эта скрытая для читателя пауза (встреча с А. А. Толстой) определила возвращение переписки (пусть на какое-то время) к совсем недавно отвергнутой литературной ситуации.

⁴⁶ 3 мая 1859 г.: «Я пишу Вам не для того, чтобы Вы мне сказали, что это? что делать, утешили бы. Этого ничего нельзя <...> Пожалуйста, не отвечайте даже про это. Главное, что я лгать не могу перед собой» (60, 294). 17/29 октября 1860 г.: «Пожалуйста, не пишите мне ничего об мне; пожалуйста, ничего не пишите» (60, 356). Февр. 1882 г.: «Но ради Христа, не обращайтесь меня» (63, 89) и др.

⁴⁷ Роль, которая принадлежит исключительно А. А. Толстой. См. письмо от 22 августа 1861 г.: «А пока что я подпишусь на Ваш журнал: он отчасти заменит мне Ваши письма, в которых Вы мне отказываете» (с. 158). Или 13 февраля 1868 г.: «Все это время я жила Вашей книгой (речь идет о «Войне и мире», — Р. Л.), а следовательно, и с Вами» (с. 226).

⁴⁸ См. письмо от 18 августа 1857 г. об «ужасах», которые составляют «вечную обстановку нашей жизни» (60, 222).

⁴⁹ Октября 17... 31 (?) 1863 г.: «Я не копаюсь в своем положении (Grübeln оставлено)» (61, 23). Или: «Мне бы хотелось, чтобы ввели меня не sanctuaire (святая святых), а в будничные интересы Вашей жизни» (60, 24).

⁵⁰ «Ежели Вам лень, то не отвечайте мне теперь, я вообразу себе ответ — и всегда отличный...» (60, 257).

⁵¹ Примечательно, что единственно возможным языком, отвечающим модели письма его корреспондентки, Толстой считал французский язык (см. письмо от 14 апреля 1858 г.: «Я давно хотел написать Вам, что Вам удобнее писать по-французски, а мне женская мысль понятнее по-французски» — 60, 260), оставляя

принять до конца построений, допускающих возможность неискренности отношений.⁵² Глубокое принципиальное различие двух «романов в письмах», созданных Л. Толстым в разное время и с разными соавторами, вовсе не в том, что «время прошло» и в новой ситуации эпистолярные опыты уже утратили для самого писателя свою нравственную и литературную актуальность. Очевидно, самый процесс живания в культуру другого человека не мог совершаться в сознании Толстого без учета его прежнего и, казалось бы, схожего опыта. Отношения с Т. А. Ергольской, которые всегда были для писателя мерой человеческого общения, и в новой ситуации, невольно проецируясь на новый эпистолярный текст, становились критерием его оценки. Близкие в своих очертаниях системы поведения корреспонденток Л. Толстого, обусловленные предромантическим типом сознания, оказываются не сходными в главном. В письмах Т. А. Ергольской, для которой литературные формы были только средством, известной ей возможностью самовыражения, Толстой видел сюжет самой жизни, ее правду: «Никогда она (Т. А. Ергольская, — Р. Л.) не учила тому, как надо жить, *словами, никогда не читала нравоучений*, вся нравственная работа была переработана в ней внутри, а наружу выходили только ее дела — и не дела — дел не было, а вся ее жизнь, спокойная, кроткая <...> *любящая не тревожной, любящейся на себя* (курсив мой, — Р. Л.), а тихой, незаметной любовью» (34, 368).

Безуспешность многочисленных попыток А. А. Толстой заставить своего корреспондента заговорить в ее системе, по-видимому, объяснялась тем внутренним противостоянием, которое вызывали в сознании художника ее письма. Ориентированные на «слово» и откровенную дидактику,⁵³ они оставляли впечатление нежизненной формы, заставляли воспринимать литературность как конечную цель, и только. Оказавшись хранительницами уже забытой во второй половине XIX в. эпистолярной традиции, Т. А. Ергольская и А. А. Толстая,⁵⁴ по-разному распорядившись этим наследством, предоставили Л. Толстому возможность своим участием или неучастием в сотрудничестве с «писательницами писем» определить литературную и нравственную ценность культуры прошлого для настоящего.

за собой право писать только по-русски. Письма Толстого к Т. А. Ергольской (за редким исключением) — это письма на ее (французском) языке, отвечающие культурной традиции первой трети XIX в.

⁵² См. письмо, датированное октябрём 17... 31 (?) 1863 г.: «Как только я вхожу в сношения с Вами, я надеваю белые перчатки и фрак (право, нравственный фрак)» (61, 24).

⁵³ «Нравоучительная колея» (с. 97) — так определяет А. А. Толстая направление своей переписки.

⁵⁴ Любопытно, что условия для «консервации» традиции создаются такими, на первый взгляд, резко противоположными сферами социальной жизни, как провинция (почти всю свою жизнь Т. А. Ергольская провела в Ясной Поляне) и столица, двор (А. А. Толстая — фрейлина и воспитательница дочери императора Александра II), где поведение человека оказывается предельно нормированным в силу привычки (провинция) или ритуала (двор).